

# Максим Бутченко

## Три часа без войны

*Посвящается жертвам этой войны.*

*Когда-нибудь мы каждого назовем по имени, чтобы никого не забыть.*

*Я безмерно благодарен моей любимой жене Татьяне, которая терпеливо помогала мне дойти до последней строчки книги.*

### 2016 год

### Вместо предисловия

Эхо Донбасской войны еще долго будет звучать в наших ушах. Мы войну еще не переварили, не свыклись с мыслью, что она вообще была. Не разделили время — «до» и «после». Застрали в безвременье, там, где нет мира, спокойствия, но нет и масштабных боевых действий. Мы повисли в вакууме, в котором все еще раздаются взрывы, но их отзвуки к нам не доносятся. Мы словно находимся на другой части Галактики, усиленно имитируем мирную жизнь, в

которую метеоритами врезаются вести о новых погибших. Нам еще нужно встретиться с войной — серьезно осознать, что она шла и идет параллельно. А потом необходимо дожить до ее окончания. Но не в физическом мире, а в мире солдатских душ, там, где еще десятилетиями боевые товарищи будут умирать на руках, а взрывы — разносить останки тел по полю, смешивая их с донбасской грязью. Нам еще придется пройти по степи, на которой когда-то растекались лужи крови. Крови с обеих сторон. Даже не так — сторон окажется больше. И каждый год мы будем открывать новые грани в произошедшей трагедии, чтобы однажды проговорить все слова, которые должны быть сказаны.

Эта книга основана на реальных событиях в жизни, на первый взгляд, разных людей. В центре сюжета — три человека, которым пришлось сначала стать жертвами, чтобы потом стать убийцами. Именно они понесли бремя победы и ощутили радость наказания. А все для того, чтобы в определенный, можно даже сказать — исторический, момент оказаться неизвестным числом  $x$  в уравнении с тремя известными значениями — Киевом, Донецком и Москвой.

# Глава 1

В тюремной камере с острым визгом открылась зеленая железная дверь, покрытая тонкими трещинами, словно старческими морщинами. Дневной свет, будто заскучавший пес, ворвался в темный коридор и облизал измученное лицо Ильи Кизименко.

Двадцатисемилетний коренастый мужчина с прямым носом, широким подбородком и взлохмаченными волосами глянул внутрь камеры — синие двухъярусные кровати, по-местному — шконки, стояли, пришвартованные к бокам помещения. Маячащий за спиной Кизименко пожилой пузатый охранник недовольно засопел, его подопечный остановился как вкопанный у порога, замер на несколько секунд, осматривая камеру, а потом шагнул вперед. Стены были покрашены ровно до половины зеленоватой краской, которая выцвела, кое-где вздулась пузырями, лопнула и обнажила синевато-оливковое заплесневевшее чрево. Оставшаяся часть стен и потолок были побелены, правда, так давно, что сереющая отталкивающая плесень проступила, словно пятна сыпи, на их поверхности, сожрала белизну на углах и, словно нарисованная черная бездна, уходила куда-то за пределы тюрьмы. Илья, которому до сих пор не верилось, что он оказался здесь,

нерешительно подошел к окну. Черные, будто обгоревшее дерево, прутья решетки окна разделяли уличный свет на маленькие квадраты, и тот распластался в пыльном воздухе, еле покачиваясь из стороны в сторону. Заключенный медленно прошел туда-сюда, измеряя помещение шагами, — ровно шесть с половиной.

— Теперь моя жизнь измеряется не годами, а тремя метрами, — сказал он тихо.

Еще год назад Илья воевал и не мог представить, что когда-нибудь попадет в киевский Лукьяновский СИЗО. Если бы на Донбассе под обстрелом «Града» ему показали будущее, то он, наверное, сгорел бы от стыда. В нем всегда проявлялось повышенное чувство справедливости и самоирония. Однажды, когда их накрывала артиллерия, молодые бойцы лежали с бледными лицами, молчали. А Илья, наоборот — тархтел без умолку, посмеивался над товарищами.

— Это у тебя защитная реакция такая, — сказала ему молоденькая медсестра Настя. — Ты самое сложное, что происходит в мире, — ожидание смерти — сводишь к самому простому — смеху. Так защищаешься.

— Та ладно, Настёна, что ты так серьезно? Моя жизнь, как помятая копейка, мало кому нужна, — как обычно с улыбкой отвечал он.

Подобные беседы почти всегда случались после бомбежек и обстрелов. Как-то солдаты сидели в окопе, вечерело. Илья курил, пускал по ветру дым, который на секунду вздымался белым драконом над землей, а потом в судорогах расплзался на части. А затем каждая из этих частей разделялась на более мелкие рваные кусочки, а те — на еще более крошечные. И всё. Воздух снова чист. Это движение частиц развлекало Илью, напоминало человеческое существование: оно как бы появилось из ниоткуда и в какой-то момент начало распадаться на невесомые лоскутки.

И тут к нему приблизилась Настя — худенькая белокурая двадцатидвухлетняя девушка небольшого роста. Она пробиралась извилистыми окопами к другому концу укрепрайона. Боец залюбовался медсестрой. На фоне сырой земли, с оттенками самой мрачной ночи, ее светлые волосы порхали, будто пламень с небес. А познакомились они гораздо раньше, на Евромайдане. Когда события в центре Киева приобрели размах, Настя из Житомира приехала в столицу. Месяц ночевала в палатках, недосыпала, недоедала. Как-то вечером, когда огонь подожженных баррикад подступал к оборонительной линии, начала помогать раненым. Вокруг шастали какие-то люди, на сцене еще находились протестующие — что-то пели,

говорили. Стоял невообразимый шум: голодными волками выли сирены, воздух крошился от взрывающихся фейерверков, раздавались возгласы майдановцев и тут же тонули в общем гаме. Казалось, ораторов на сцене уже давно никто не слушал, а те и не старались донести свои речи до людей — кричали в небеса. Небо, словно накрытое черной шубой, отчаянно мигало звездами, как бы выстукивая протестующим на Майдане ответ азбукой Морзе: «Продержаться еще один день». И держались. Наперекор пламени и дыму.

Первая линия обороны постоянно редела, а потом вдруг появлялись новые люди. Их было немного — редкая ограда из человеческих тел, которые двигались, копошились, падали замертво. И тут снова возникали другие, будто воскресали мертвецы. Картина апокалипсиса.

В какой-то момент Илья оказался на передовой, сам не понимая как. Он подбежал к линии защиты, состоявшей из снега, разбитых лавочек, железных прутьев, воткнутых в пузатый живот сугроба, и на мгновение остановился, прежде чем кинуть «коктейль Молотова». В ту же секунду его ранило выстрелом «беркутовца» — пуля полоснула плечо, оставила кровавый след. Он опешил от неожиданности и сквозь густой черный дым устремился поближе к сцене.

— Эх, блин, а это больно, — проворчал Кизименко, и через мгновение к нему подскочила Настя.

— Что случилось? — закричала она ему в ухо.

Это «что случилось?», как ни странно, вдруг успокоило его, принесло умиротворение. Может, потому что в какофонии взрывов, выстрелов, грохота, словом, во всех неживых звуках он слышал человека.

— Задело. Рука. Несильно, — отчеканил Илья и посмотрел на девушку.

Красивое лицо Насти внезапно вызвало у него множество эмоций — от благодарности до какого-то молниеносного влечения. Может быть, поэтому на его лице неожиданно появилась странная в данной ситуации улыбка. Настя испугалась и еще более настойчиво произнесла: «Что с тобой? Говори!» Последняя фраза привела Илью в чувство, и он рассказал о ранении. Слово за слово, они разговорились.

— Сколько ты уже тут? — спросил Кизименко, когда медсестра наклонилась к нему обработать рану.

— 723 часа, — громко выпалила девушка.

Интересоваться непривычным подсчетом не было времени. Еще минуту она занималась плечом Ильи, затянула рану бинтом, а потом подняла глаза.

— Ты хоть откуда, как сюда попал? — задала вопрос девушка.

— Я из Питера, — серьезно ответил он.

— Откуда-откуда? — удивленно переспросила Настя.

Но ответить Кизименко не успел: рев сирены накрыл толпу на Майдане. «Беркутовцы» врубили мощные динамики и бросились в очередную атаку. С тех пор Илья и Настя мало разговаривали, лишь иногда перекидывались фразами.

И теперь на Донбассе протестующие против режима Виктора Януковича снова встретились. Настя ловко скользила в окопе по утопанной земле и так быстро устремилась к нему, что вспомнился майдановский эпизод.

— Настюх, куда летишь? — спросил Илья.

— К тебе, милый, соскучилась, — не моргнув глазом сказала она и прошла мимо.

В ответ на лице бойца расплылась его привычная улыбка. Хотя привычной она стала не так давно. Еще пять лет назад он был совсем другим — молчаливым, нелюдимым, мрачным. Ему нравилось бродить темными переулками, когда его никто не видит. Ссутулившись, он часто заходил в незнакомые дворы. Обычно выбирал лавочку, садился и смотрел, как мелькают фигуры в наполненных желтым светом квадратах окон.



«Жизнь — это случайное собрание случайных людей в случайном доме», — думал он.

Петербуржец верил в случайность. Для кого-то Бог — основа существования, для кого-то — собственное эго. Для Кизименко бытие — это трепет от осознания конца жизни перед пропастью великого Ничто. И этот трепет заставлял его познавать сущее. Может быть, когда-то он придумал это сам, а может быть, где-то прочитал — уже давно не задумывался о таких вещах. Илье важно было это щемящее чувство осмысления едва уловимого мига, частички времени «здесь» и «сейчас». Эти походы по чужим дворам успокаивали его душу, упорядочивали мысли, особенно в те моменты, когда он наблюдал хаотичную суету темных силуэтов в теплом свете окна.

— Нравится, что аж рот открыл? — Пузатый охранник прервал размышления арестанта СИЗО.

Довольный своей шуткой, вертухай постучал дубинкой по железной кровати. Та нервно отозвалась протяжными тонкими звуками, и они на несколько секунд заполнили камеру. Железный звон еще звучал в воздухе, а Кизименко думал, как ответить заносчивому тюремщику. В голове прокручивались различные сценарии. Вначале он хотел стукнуть его головой об кровать, потом

ударить что есть силы ногой в пах, толкнуть скрючившееся тело о стенку. Или развернуться и справа вонзить кулак в жирный двухъярусный подбородок. Пока заключенный думал, сзади раздался характерный скрип — охранник исчез в черном проеме, как в другом, недоступном для узника измерении. Дверь захлопнулась. Кизименко остался один.

Неспокойное чувство не покидало его. Он прошелся по камере еще раз, осмотрел окно с решетками. Присел на шконку, которая визгливо и недовольно заскрипела. Сколько времени прошло, прежде чем Илья вот так смог остаться наедине с собой? Пять месяцев? Семь? А может, двадцать? Он давно перестал вылавливать в сетях времени свое одиночество. Его охватило почти забытое чувство — он ощутил границы своего тела в бесконечном мире, осознал, что живет. Так всегда случалось, когда он бродил темными вязкими вечерами по глухим переулкам.

Кизименко подумал, что неплохо было бы сейчас закурить, как вдруг вспомнил, что не курил уже месяц, бросил еще в зоне АТО. Но сейчас неожиданно захотелось как-то успокоить гнетущее чувство в душе, которое вот уже много дней мучило его, как призрак — постояльцев древнего дома.

— Стар, наверное, я стал, раз так рассуждаю, — сказал он сам себе и запнулся.

Обычно разговоры с собой не приводили к успокоению — наоборот, он ожесточенно резал правду-матку о себе. Может быть, и теперь начал бы постепенно складывать слова в предложения, которые, как плеть, в убыстряющемся темпе хлестали бы его душу, оставляя на ней рубцы. Но не успел.

За дверью зашуршал контролер-охранник, в обязанности которого входит открывать двери в камеру. Железо резко закрипело, противно растягивая звуки. Через пару секунд показался толстый охранник, а позади него стояли двое. Одного из них Илья узнал — это был тюремщик, который сопровождал его по пути в камеру. А третьим был еще один заключенный, новенький — широкоплечий молодой парень с приплюснутым носом и коротко остриженными волосами. На плечи его была накинута старая камуфляжная куртка, ботинки сильно истоптаны, но футболка и брюки по-армейски опрятные и чистые.

«Где я его видел?» — моментально выстрелила пулей мысль в голове у Ильи.

В это время толстопузый осмотрел помещение, махнул головой второму вертухаю. Тот послушно, не говоря ни слова, легко пнул рукой в спину армейца. Заключенный даже не обернулся,

сделал несколько шагов и остановился у шконки, затонувшей справа по борту. Толстяк довольно хрюкнул и резво посеменял к выходу. Илья сел на нижние нары, оперся о стойку и посмотрел на соседа, не подав и виду, что попал в камеру всего лишь полчаса назад.

— Как зовут, братишка? — спросил новенького «дед».

— Лёха, — процедил тот и тоже плюхнулся на нары напротив Ильи.

На этом разговор закончился. Каждый погрузился в свои мысли. Лёха насупился, видно было, что эта ситуация в его жизни произошла впервые. Он лег на спину, положил руки под голову и стал смотреть на дно второго этажа кровати. Его глаза блуждали по неровной поверхности железных листов, обшаривая каждую деталь, шероховатость. Со стороны могло показаться, что он изучал строения несовершенной конструкции в неидеальном мире. В природе корявость форм и неровность плоскостей — всего лишь результат нервозности Создателя, решившего, что в мире не должно быть ничего безупречно прямого. Так думал Лёха или иначе, наверное, не имеет никакого значения. Проигрывание мыслей человека, попавшего в СИЗО, подобно ходу магнитной ленты старой кассеты, которую внезапно «зажевало».

Больше задержанные не вымолвили ни слова. Разговор прекратился, так и не начавшись.

Молчание распотрошило все отзвуки в камере. Каждый поглощал свою тишину. Насколько сильно она отличалась от тишины другого человека? Наверное, никто бы во всей Вселенной не смог это аргументированно объяснить. Лишь потом станет ясно, что все, происходящее в камере в дальнейшем, зачато, как дитя в чреве женщины, семенем этой тишины. Пройдет много дней, проведенных в размышлениях и воспоминаниях, прежде чем придет осознание важности этого неприметного момента.

Илья захотел в туалет, встал и подошел к параше. Его сокамерник все так же уныло блуждал глазами по стене и стойкам шконки и будто не замечал, что делает коллега по несчастью. А Кизищенко отошел от толчка и внезапно уставился на лицо Лёхи. Тот лежал так, что большая часть его физиономии оказалась видна Илье. Так продолжалось буквально три секунды — мало, чтобы вновь прибывший заключенный успел отреагировать на пытливые взгляды «старожила» камеры, но много, чтобы предопределить целый жизненный путь.

Хотя, чтобы быть точным, этот взгляд нужно измерять даже не в секундах, совсем нет, это слишком неточная величина, чтобы понять, каким

он был долгим и проникающим в глубины неосознанного. Взор Ильи нужно считать в миллисекундах — их было ровно триста. Три сотни колебаний, микродвижений, растянутых на временной шкале. Для Ильи трехсот составных частей оказалось достаточно, чтобы перевернуть его жизнь. Он медленно подошел к шконке и осторожно лег. Сердце отбивало чечетку не хуже выступающего танцора степа. Голова болезненно отяжелела.

Кизименко вспомнил, где видел Лёху. Ровно девять месяцев назад, стреляя из гранатомета, он разрушил дом в донецком поселке Пески. А через пять дней проезжал мимо черных, обгоревших остатков хаты с провалившейся крышей и костлявой сгоревшей мебелью, и вспомнив, что тут произошло, подошел к разрушенному зданию. Дверь в заборе наклонилась набок. На ограде — царапины и вмятины от осколков и сквозные дыры, как глазницы черепа. Одна стена дома рухнула, обнажила растерзанные внутренности, как у пациента во время хирургической операции. Ветер шелестел куском расплавившейся занавески, а иногда истерично хлестал нейлоновую ткань об истлевшую плоть хаты. Во дворе никого не было. Илья подошел к пролому, хаотично раскиданные вещи покрывали землю, словно инсталляция о смысле беспорядка. Но тут его взгляд остановился

на фотокарточке, согнутой пополам. Небольшую ее часть опалил огонь, проведя черными макияжными тенями полосы по сгоревшему краю, а остальное уцелело. Кизименко нагнулся и поднял фото, расправил одной рукой, на пальцах остался чернильный отпечаток пепла. И тут ему открылось изображение, не раз являвшееся потом к нему во снах: на фотографии мужчина (а им оказался Лёха) нежно обнимал красивую кудрявую женщину и опрятного ребенка, смотрел в камеру и беззаботно широко улыбался.

## Глава 2

На несколько минут молчание распятием возвысилось в камере, словно победа беззвучия над любым шорохом. Илья заворочался, посмотрел на сокамерника и увидел, что тот прикрыл глаза и дремал или делал вид, будто отдыхает. Кизименко попытался рассмотреть своего сокамерника. Сейчас они находились в так называемом карантине, особой «хате» по-блатному — камере, в которой содержатся новички, — те, кто в первый раз попался на правонарушении. Обычно новенькие сидели здесь до тех пор, пока не набиралось определенное количество задержанных, которых потом распределяли по остальным «хатам».

Лёха ровно дышал. У него были впалые щеки, что выдавало склонность не столько к худобе или скудному питанию, сколько к борьбе за существование. Дни потрепали его, как дворцовую собаку, — линии лица стерлись наждачной бумагой времени почти до кости. Глубокие морщины изрезали кожу. Заключение действительно заснул, одна рука лежала на груди, другая — на кровати. Ногу Лёха протянул так, как будто хотел поставить ее вперед, а второй — сделать отступ для рывка. Пауза продолжалась несколько минут.

Этот период, когда они не разговаривали, определил ход дальнейших событий. Нужно сказать, что с временными промежутками у Ильи были особые отношения. По какой-то неизвестной ему причине он мог ощущать, как в незримых и великих вселенских часах струится песок времени. Это чувство пришло к нему, когда он пошел в первый класс. Илья помнил, как переступил порог школы: он оглядывался по сторонам, ему было любопытно, какая жизнь там, за порогом, — в коридорах, выкрашенных темно-коричневой краской, у старой зеленой доски в классе, за неуютными партами. Но настоящее погружение в иную глубину бытия произошло спустя четыре месяца. Он стоял в пустом кабинете после уроков, голова опущена, рядом мама и Валентина Федоровна, классный руководитель.



Мать озабочена. Поглядывает то на сына, то на классного руководителя.

— Вы знаете, Ирина Петровна, ваш сын никогда не научится читать, — вынесла вердикт преподаватель и укоризненно осмотрела маленького Илью с ног до головы.

Тот старался не поднимать глаз, а только сопел, как чайник, который вот-вот закипит.

— Но как же так, Валентина Федоровна? Разве он глупее других? — спросила мама и легким движением утерла край глаза: там уже созрела слеза, готовая окатить соленой влажностью кожу.

— Да уж поверьте мне: он даже буквы не может выучить! Дети вон как шпарят, читают всюю. А ваш!.. — с сожалением выдала учительница, а потом в сердцах даже бросила карандаш на стол, и Илью окатило тупым и объемным шумом от этого движения.

Мальчик захныкал. Казалось, плач и вой уже кружились в нем бурей, разрывали штормом его естество, накрывали вихрем душу. Но каким-то недетским усилием воли он сдерживался и только еле хныкал. Тогда разговор продолжался двадцать минут. Как Илья это понял? Просто и одновременно сложно — от напряжения он почувствовал ритмическое колебание времени. В том возрасте, конечно, большие цифры ему были недоступны, но он отчетливо помнил, когда шел по

коридору школы, что часы показывали большой стрелкой на два, а маленькой — на час, а когда они вышли от классного руководителя, то большая стрелка застопорилась ровно на шестерке. Фокус в том, что этот промежуток он знал до того, как посмотрел на циферблат.

С того дня он начал считать время. Кто-то его бездумно тратит, а кто-то даже не замечает. Для Ильи мельчайшие импульсы времени стали такой же реальностью, как и чувство позора. Эту встречу мамы с учительницей он не забудет никогда в жизни. В тот вечер мама сидела возле него и пыталась погладить по голове, пожалеть.

— Мама, не нужно, я сам, — решил он и отстранил руку матери.

Та на мгновение отпрянула, а потом посмотрела на него, словно не узнавала сына.

— Что сам? — спросила она.

Мальчик поднял глаза — взрослый, осмысленный взгляд. Мать удивилась его серьезности.

— Я буду читать, — ответил Илья и замолчал.

Эти слова, словно прикрепленные на незримых нитях, висели между мамой и сыном и, казалось, не хотели падать на пол. Только притяжение, даже не земли, а магнита времени, обрушило фразу мальчика куда-то вниз, туда, где начинается прошлое.

Илья свое слово сдержал. Первым делом он выучил алфавит, а потом проглотил все детские книжки, которые были в доме. После взялся за учебники, просмотрел их до конца, старательно выводил в уме слова и фразы. Через несколько месяцев его было не узнать. Он стоял перед классом и читал, не запинаясь, отрывок из «Стойкого оловянного солдатика». В тот день мальчик занял второе место по скорости чтения. Валентина Федоровна не верила услышанному. Еще много раз она будет рассказывать об этом случае своим подругам-учительницам, утверждая, что ее уникальная методика преподавания эффективно работает.

Однажды мама вернулась с родительского собрания, на котором ее сына ставили в пример. Она немного краснела, когда упоминали Илюшу, но ее женское сердце буквально распирало от гордости и довольства. Дома было привычно тихо. Ее сын, если и играл, то почти всегда незаметно. Мужа у нее не было — разошлись, когда Илье исполнился год, но Ирина не беспокоилась о том, что дома может что-то случиться. Она прошла по узкому короткому коридору, зашла в небольшой зал, а потом приоткрыла выкрашенную дешевой белой краской деревянную дверь в спальню. Там стояли три кровати, буфет цвета гречишного меда, в углу лежали старенькие вещи, упакованные в серые

мешки. По всей комнате были расставлены игрушечные солдатики, которых в доме водилось несметное количество. Рассредоточенные по углам, на краю кровати, тумбочке, полу, они застыли в самых, на первый взгляд, немислимых для живого человека позах. Один выставил ружье и замер, другой замахнулся кулаком и застыл, словно замороженный Хан Соло. Кто-то поднял коня на дыбы, готовый раздавить любого, кто окажется под животным. Сражение в самом разгаре.

Мама не понимала, кто друг или враг, но мальчику все было предельно ясно. Те, кто на кровати, сделали нежданный бросок через горы, и вышли на равнину (к тем, кто на полу). Несмотря на то, что у равнинных войск было преимущество — конница и тяжелое вооружение, удар в спину был настолько внезапным, что армия потерпела поражение. По всей комнате также валялись разбросанные книжки, которые одновременно служили укрытием для войск и казармами.

— Война и книги — вот твоя страсть, — сказала мама сыну, который добивал остатки вражеских войск.

Мальчик пропустил эти слова мимо ушей, но потом мать еще не раз повторяла ему эту фразу.

— Война и книги, — внезапно громко произнес Илья в камере СИЗО, тем самым заставив своего сокамерника встрепенуться.

— А? Что? — спросонья забормотал тот, оглядываясь по сторонам, не понимая, где находится.

Кизименко заулыбался: неловко вышло, но забавно. В голове чуть просветлело. Первое беспокойство от знакомства с Лёхой утихло. Тот замялся, наконец-то проснулся. Взглянул на Илью и, не зная, что сказать, спросил то ли самого себя, то ли собеседника:

— Интересно, который сейчас час?

Посмотрел на руку — часов не было: все лишние предметы забрали при досмотре.

— 12:50, — уверенно ответил Кизименко.

— Сколько? Да ты гонишь, откуда знаешь? — с недоверием взглянул на него Лёха.

— Ну, смотри, меня из милицейского участка забрали в 11:15. Везли до Лукьяновки где-то полчаса. Потом 15–20 минут оформление, меня привели в эту камеру пусть в 12:05. Пока я тут осматривался, привели тебя — где-то в 12:35. Мы несколько минут поговорили, и ты задремал. Значит, сейчас 12:50, — провел нехитрые расчеты Илья.

— Э-э, а у тебя что, часы есть, братэло? — задал логичный вопрос собеседник.

Илья еще раз улыбнулся.

— Нету, я время считаю, — разоткровенничался он.

— Гх, как карты, што ли? У тебя шо, минуты кропленные? — усмехнулся Лёха, но не стал вдаваться в подробности.

А между тем стоило. С того момента как первый заключенный огласил время, пройдет три часа. Эти часы станут для них столетиями. Будто в незримой для себя ипостаси, время потеряет ритм, изменит свое течение. Ни Илья, ни тем более Лёха еще не догадывались, к какой череде нагромождений приведет их этот день. За эти сто восемьдесят минут произойдет то, что никогда не смогло бы случиться за всю их долгую жизнь.

Где-то в голове у Ильи щелкнул незримый часовой механизм. С каким-то неведомым для себя жгучим желанием или первобытным зовом он начал отсчитывать время, складывать в одну кучу ворох секунд, подкидывать дрова минут, чтобы позже в один миг поджечь их, не задумываясь о последствиях.

Итак, минута первая. Оба ничего не говорили. Илья подумал, что нужно помалкивать. Воспоминания о фотографии вызывали в его сердце смуту, а Лёхе просто нечего было сказать. Он всегда находился как бы между двух реальностей, распластывался мостом в мирах, где неизменно был чужим.